

родивнова
Наталья Борисовна

Интервью.

Записала на д/ф Косинова Т.

К. - Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, коротко о Вашей семье.

Н.Б. Семья моя происходила со стороны дедушки, мамы, была целиком из военных, все мужчины были военные. Дедушка был генералом, когда он ушел в отставку в 1906 году, а отец мой, муж моей матери, Кореев Борис Павлович, тоже был военный, офицер Генерального штаба, служил, кончал академию Генерального штаба в Петербурге, а потом был назначен на работу в Туркестане. Я родилась в Петербурге в 1902 году, летом мы ездили в Туркестан, Алма-Ата, тогда был город Верный, мы там проводили лето, а зимой возвращались в Петербург. Потом в 1906 году дедушку уволили в отставку, как тогда сформулировали - за либерализм, за то, что он не преследовал в 1905 году молодежь гимназическую, за революционные там встречи, разговоры, за митинги и так дальше. Он ушел в отставку, отец еще служил, а в 1907 году отец мой умер. Смерть его, надо заранее сказать, когда он был еще в Петербурге в училище военном, он вошел, тайно конечно, подпольно, в организацию эсеров и продолжал ее поддерживать в академии, и после академии продолжал поддерживать связи. И когда он приехал в Туркестан, он там командовал батальоном, и он там, как говорится, разлагал своих солдат, он их либерально настраивал, они его боготворили, и он там прослыл либералом, и к нему относились с подозрением. В 1907 году приехал в Алма-Ату такой генерал Покатило, который перед этим разгромлял революционные позиции в Прибалтике, он приехал туда тоже с целью расчистить атмосферу, и отцу было передано тайно, что на него готовится дело, что он будет арестован. И вот отец после дежурства в Батальоне пришел, поцеловал всех нас, ничего не говоря, пошел в свой кабинет, раздался выстрел, он застрелился. Мне было тогда пять лет, это произошло почти на моих глазах, я была в соседней комнате, так что я увидела его умирающим, дедушка подбежал к нему, и я увидела, как он уходит из жизни. После этого мы часть времени жили в Верном, а часть уезжали в Петербург, потому что дедушка был уволен даже без пенсии. Там жили еще наши родственники, мы у них гостили летом, а зимой уезжали опять в Петербург. Школу я кончила в Алма-Ате, тогда в Верном, тогда бывшая гимназия, она тогда считалась школой второй ступени, это уже в 1920-м году. Я кончила в мае 1920-го года гимназию эту и в этот же месяц поступила добровольцем в Красную Армию. Я пошла просто стрелком как говорит-ся, рядовым, но когда там узнали, что я знаю языки, а я французским хорошо владела, читала и по-немецки, и по-английски, меня забрали в библиотеку, и я стала работать в библиотеке Политотдела. Начальником был Фурманов знаменитый. Я поступила в мае, а осенью этого же года нашу дивизию перебросили на Басмачский фронт в Фергану. И я ушла вместе с дивизией на фронт, там я переходила из одной дивизии 2-ая Туркестанская, 4-ая Туркестанская, различные были причины, почему переводили, перемещалась дивизия, а библиотека оставалась на месте, я оставалась в библиотеке.

Там я вышла замуж первый раз, но с мужем я прожила всего три месяца, его услали на фронт в другой конец России, попал на Кавказ, и мы с ним так и расстались. И я родила дочку уже без него. В 21-м я вернулась в Верный, в Алма-Ату, там мама была, и дедушка уже там был, а дедушка после революции был консультантом Михаила Васильевича Фрунзе в штабе Туркестанского военного округа и пользовался привилегиями красноармейцев, так что его никогда не трогали, не преследовали, никаких не

было гонений на него, к нему относились с большим уважением. Мы жили с ним вместе все время. Семью нашу не трогали, отца помнили очень хорошо солдаты, которые с ним служили, и никогда нас никого не трогали и не преследовали, хотя это было как бы закономерно, что бывших офицеров надо было как бы прибрать к рукам, как говориться.

Я прослужила в армии до 24-го года, четыре года в общем. В 24-м году была демобилизация, я демобилизовалась и уехала в Москву, решила учиться, с ребенком своим уехала. В Москве я жила в общежитии Красной Армии на Никольской и зарабатывала переводами, училась на курсах стенографии. Примерно два года я так жила, а в 25-м году я встретилась с Родионовым, он жил там же. Это было общежитие Военной академии Генерального штаба. Там же в общежитии жили Тухачевский, Буденный, Ворошилов, Гамарник, так что приходилось встречаться с ними со всеми. Дочка моя там была в детском садике, а я училась и работала.

В 25-м году я вышла замуж за Родионова Николая Александровича. Он был начальником военных учебных заведений Московского военного округа, заместителем Якира. Мы там прожили 25-й, 26-й год, а в 26-м году его перевели на такую же должность в Ленинградский военный округ, тоже начальником военных заведений Ленинградского военного округа, так что в его ведении были все высшие военные учебные заведения, и он был очень загружен работой, а я готовилась поступать в ВУЗ, на курсах училась, готовилась поступать в Университет.

К. Расскажите, пожалуйста, о деятельности мужа в 20-х годах в Ленинграде.

Р. В 26-м году начал работать, до 28-го года он пробыл в армии на военной должности, а в 28-м году он демобилизовался, звание у него тогда было - комиссар корпуса, три ромба носил, большой чин. Когда он демобилизовался, его перевели на партийную работу в Смольный, и он сначала там был инструктором, потом очень быстро повышался, был заместителем начальника профделом горкома партии, а потом стал начальником культпрофдела горкома партии ленинградского в Смольном. Все это время он работал рядом с Сергеем Мироновичем Кировым. А я в 28-м году выдержала экзамены и поступила в ленинградский университет на географический факультет, я училась, вечерами я работала в геологическом комитете, зарабатывала немножечко, потому что жалованье было очень маленькое у мужа, хотя и должность большая, мне приходилось помогать материально. И потом я работала по специальности в Геолкоме. Все это время было очень интересное, напряженная работа. Муж был очень увлечен своей работой, я была увлечена своим университетом, своими успехами, потому что у меня был большой перерыв между школой и университетом, вообще я все это наверстывала, а муж работал, мы даже часто не виделись, потому что он часто уезжал в командировки. С Сергеем Мироновичем Кировым однажды, я знаю, он ездил на Беломорбaltийский канал на строительство. О Сергеем Мироновиче что я могу сказать, кто с ним работал, его окружающие, все его буквально боготворили, он отличался необыкновенным характером, он был спокойный, выдержаный, очень внимательный к самым разным мелочам житейским людей, все люди чувствовали, что он не просто их начальник, он их друг, воспитатель, друг, что хотите. Муж его буквально Боготворил. Он приходил, всегда рассказывал, что Сергей Миронович такой, такой. Я с Сергеем Мироновичем познакомилась случайно на демонстрации в какой-то октябрьский праздник, я была на трибуне на гостевой, а Сергей Миронович был на трибуне большой, он увидел, что я с девочкой там на трибуне, он девочку мою забрал и повел ее в буфет, корить, уговаривать. Она ему понравилась очень, хорошо держалась там, на трибунах. Мне приходилось разговаривать с ним всего два раза или три, может быть. Когда я кончала университет в 32-м

году, муж был избран в бюро Горкома, Первым секретарем был Киров, а помощниками по городу были Угаров и Родионов, мой муж, а по области Чудов и Позерн^{1/2}, это пять человек были членами бюро горкома. Все шло как бы по восходящей линии, настроение было такое, что горел на работе, трудности, но можно их преодолеть, только работать, работать и работать. В 32-м году меня даже не спрашивали, а перевели в аспирантуру, а с 30-го года я уже преподавала на 1-ом курсе университета будучи студенткой топографию и черчение, потому что преподавателей не хватало, так что у меня с 30-го года начался мой педагогический стаж. Ну что я могу сказать? Работа, работа, работа. У нас часто народ собирался, сотрудники его отдела по Смольному, фамилии я всех даже не помню, приходили, как у них был лозунг - "без жен", выпили чаю, немножко закусили, потом сидят разговаривают, а я в свою комнату ухожу и даже не вмешиваюсь, потому что я была беспартийная, мне даже неинтересно было, какие там у них дела служебные.

В 34-м году, летом, помню, муж пришел и рассказал с возмущением и с усмешкой: первый раз сегодня видел Сергея Мироновича сердитым, прислали новую какую-то уборщицу, а она кокетничать с ним вздумала. И он рассердился и ее выгнал. Позвал секретаря и сказал, чтобы ее убрали, чтобы она не приходила. Это была Николаева, жена того Николаева, который потом стрелял в Сергея Мироновича Кирова.

К. Наталья Борисовна, а что она делала? Муж Вам рассказывал? Каким образом она вела себя?

Н.Б. Она пришла, она кокетничала, она не имела права, она должна была убирать, когда его не было. Когда он приходил, она начинала убирать, она ложилась на стол, раскрывала блузку, делала, как сказать, заходы, хотела привлечь его к себе.

К. Скажите, пожалуйста, что делала жена Николаева? Каким образом она кокетничала с Кировым?

Н.Б. Ну каким образом? Жена Николаева, тогда еще и фамилии ее не знали, кто она такая, просто новая уборщица, она засигрывала, растегивала блузку в присутствии Сергея Мироновича, усаживалась на стол к нему, он, конечно, разозлился и ее выгнал. На этом дело кончилось, об этом все очень быстро забыли, если бы после убийства Кирова в первые часы не было пущено в оборот теория о том, что убийство произошло на почве ревности. Из этого был сделан вывод, все окружающие моего мужа, Родионова, сделали вывод уже после смерти Сергея Мироновича, что это было подстроено, нарочно эту женщину подсыпали, чтобы как-то потом найти предлог потом. Потому что против Сергея Мироновича что-то придумать было очень трудно, он вел себя безупречно, он был очень хорошим хозяином, очень любил детей, все отдавал работе, и никаких у него романов, легкомыслия никакого не было. Когда он один раз на охоту поехал, и то это было замечено, даже в газетах об этом было, это один раз за шесть лет совместной работы.

К. Наталья Борисовна, расскажите - каким он был в быту? Вы рассказывали, что к вам приходил тот же полотер.

Н.Б. Тогда в то время было такое положение: мы жили в домах, принадлежащих Смольному, и наши квартиры принадлежали Смольному, это сейчас улица Радищева, дом еще стоит этот. Это был очень большой дом с большими квартирами, и мы там имели в 4-хкомнатной квартире три комнаты, в четвертой комнате жила зав. кадрами в Смольном, Платонова. К нам полагалось раз в месяц приходить полотер, который работал в бригаде Смольного. Когда он работал у нас, он всегда приходил один, и я ему

как-то сказала: Не тяжело Вам, приходится переставлять... "О! - говорит - пустяки какие! Вот, говорит, как у вас, так у Сергея Мироновича, я за полчаса все перекидаю и сделаю, потому что ни там мебели нет, ни у вас мебели нет. А у нас действительно была квартира полупустая, было самое необходимое: спальные принадлежности, стулья, и так... ни модного ничего, ни дорогого. Муж мой против этого всего категорически возражал. Так что вот таково мнение было простого полотера, который приметил, что как у Сергея Мироновича, так и у вас мне делать нечего, я за полчаса управляюсь. У него была еще такая привычка, у Сергея Мироновича: у него была машина конечно, и она у главного входа дожидалась, там же стояла охрана, которая должна была его сопровождать, а Сергей Миронович страшно этого не любил, и поэтому, когда кончалась работа, он уходил черным ходом из Смольного, уйдет и пешком идет на Петроградскую сторону, по дороге он там с ребятишками поговорит где-то на набережной, посмотрит, как там рыбу ловят рыбаки на набережной Невы, а здесь мечется, ищет его охрана: Где Киров? Где Киров? Некого им охранять. Он не любил этого очень. И вообще в Смольном были нравы вольные, то есть там, например, не очень следили за пропусками, я, например, когда приезжала к мужу по делу на работу, за зарплатой, например, так прямо проходила в главное здание, говорила: "Я иду к мужу." - Пожалуйста. И никакого пропуска мне не выписывали и так далее. И муж, приезжая из Москвы, куда он часто ездил в командировки, говорил: "Вот у нас вольность какая! В Москве везде пропуска, пропуска и пропуска". Было впечатление разницы такой.

Все это продолжалось до 34-го года. Этот инцидент был летом 34-го с уборщицей, потом, по-моему, Киров уехал в Казахстан, вернулся, как раз у нас начинались новые времена, у нас была отменена карточная система, к которой мы привыкли уже, появились магазины, Невский сверкал огнями, магазины торговали до поздней ночи. Вообщем, у всех настроение было такое приподнятое, и все это как-никак связывалось с руководящей ролью Сергея Мироновича и с его простотой, и с его общительностью, он постоянно бывал на заводах и с рабочими встречался. И вот 30 ноября 1934 года, это как раз был мой день рождения, вечером собрались товарищи мужа меня поздравить, человек пять или шесть, я сейчас уже не помню кто именно, из сотрудников его: Смирнов, Набедрик помню, Маяк, не помню, кто еще, стерлось в памяти, все-таки сколько лет прошло. Мы закусили, потанцевали немножко, радио послушали.

К. Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, о 17-съезде, какие разговоры велись в вашей квартире перед этим?

Н.Б. Перед семнадцатым съездом было много разговоров, потому что готовились к нему очень внимательно, вопросы всевозможные обсуждались. Все товарищи смольнинские бывали у нас, ну, естественно, разговор о предстоящем съезде был постоянно и о планах всевозможных. Перед самым съездом, когда выяснилось, кто будет делегатом, что мой муж будет делегатом с решающим голосом, особенно приходили к нам товарищи и ему все наказы делали о том, что ему надо сказать и как надо говорить и как надо делегации ленинградской действовать. Перед самыми днями, два вечера это кажется было, шли разговоры, я случайно это слышала, со мной не делились, конечно, товарищи разговаривали о том, какие шансы у Сергея Мироновича быть выбранным и перебирали: какие делегации, сколько голосов, сколько всего делегатов, и какой процент будет безусловно за Сергея Мироновича. Вспоминали Ивано-Вознесенскую область, Закавказье, ленинградская само собой, потом Казахстан и Астрахань, остальные не помню. И они подсчитывали, сколько в каждой делегации примерно лиц и сколько будет примерно за Кирова. Против Сталина я ничего не слышала, ничего не говорилось, просто они хотели, чтоб

был Киров первым секретарем. И когда они уезжали, я так с ними на эту тему не разговаривала, меня в дела не посвящали, я это просто слышала, поскольку была с ними, поила их чаем и так далее, невольно слышала это. Когда они уехали на съезд, через несколько дней муж приезжал, и вы знаете, я была поражена тем, в каком он настроении приехал, он был просто как бы убитый. Он совершенно не мог ни о чем спокойно говорить, какой-то нервный. Когда я задала ему вопрос: в чем дело?.. — А, потом как-нибудь расскажу. А потом, когда пришли товарищи, об этом начали говорить, они опять начали пересчитывать число голосов, и по их подсчетам выходило так, что у Кирова было больше голосов, но когда подсчитали там на съезде, то оказалось, что у Кирова меньше. Они были поражены этим, потому что решили, что была какая-то подделка с подсчетом. Тогда же они рассказали, что выступал Киров, и там на этот счет говорили, и он сказал, что он очень рад, что выбран Сталин, что он ни в коем случае не претендовал на то, чтобы быть Первым секретарем. Ну ясно было, и муж, и товарищи говорили, что Киров был исключительно честным и партийным большевиком, и он, конечно, не хотел допустить никакого раскола и ни каких, понимаете ли, эти... И потом он не был честолюбив сам по себе. Он отлично здесь вел свою работу, и он ею был доволен, и он не рвался к высшему звену. Но товарищи считали, что будет лучше, если будет он. Но факт тот, что 17 съезд это решил, и так оно дальше и пошло. Вообщем, работа продолжалась, приехали они, настроения после 17-го съезда были очень приподняты в народе, все говорили, что будет лучше. И действительно, началось резкое улучшение со снабжением, уничтожение карточек, о чем я уже говорила, знаете, как-то все подбодрились. Съезд был в январе 34 года, Киров много уезжал, последняя его командировка была, кажется, в Казахстане, и потом, когда он приехал, тут было очень много работы, и муж пропадал там на работе, как будто горел, все как будто хорошо, все как будто прекрасно, и жизнь налаживается, как нужно. То, что нужно, то и есть. И вот в этот момент, возвращаясь к моему дню рождения, 30 ноября, когда собирались, чтобы отметить и отмену карточек, и мой день рождения, и так побеседовать свободно не о делах, а так — посмеяться, послушать. Мы посидели, часов в одиннадцать народ начал уходить, мы с мужем пошли их провожать, вышли на Невский, на Невском горела масса огней, магазины еще были открыты и все говорили: "Ах, какая наступила замечательная жизнь! Как людям легче жить будет, как люди будут довольны сейчас всеми новшествами, которые сейчас в жизнь приведены." С таким настроением мы и домой вернулись, и на другой день, первого декабря, муж уехал на работу, окрыленный тоже. В этот день в Таврическом дворце должен был быть партактив. И мой муж, Сергей Миронович готовился к партактиву и в Смольный приехал, должен был приехать только во второй половине дня. А у мужа накопилось очень много документов, которые Сергей Миронович должен был подписать, просмотреть, и муж поэтому просил охрану, чтоб ему позвонили, когда Сергей Миронович приедет, чтобы он его не прозевал, чтобы он перед актиром с документами со всеми покончить. Комнаты Сергея Мироновича находились в крыле Смольного, а три комнаты-кабинеты моего мужа были напротив как раз этого кабинета, так что из дверей кабинета мужа были видны двери Сергея Мироновича, и поворот к ним. Там было три кабинета, один кабинет мужа, его помощника, и третий был в середине, секретарша-машинистка там, моя приятельница как раз, Дуцман Катя, старый член партии, большевичка старая. Им позвонили, что Сергей Миронович приехал, поднимается. Они вышли здесь в кабинет, как раз муж стоял разговаривал с Катей, и в это время раздался выстрел. Они выскочили в коридор, и увидели, что Сергей Миронович падает, как раз напротив дверей, ну это метраж в пяти от дверей моего мужа. А Николаев, тогда еще не знали, что это Николаев, ну тот, кто стрелял, он выстрелил в себя тоже, он имитировал самоубийство, но он толь-

ко оттянул кожу, левую руку немножко пристрелил, крови было много, но ничего страшного не было, но он упал на землю и начал отползать в сторону, опять к главному выходу. Но муж дальше не видел, что было, потому что они подняли Сергея Мироновича, понесли его в кабинет и там положили его на стол, потому что его нельзя было уже на диван укладывать, ничего, он тяжелый был уже, он был еще жив, но уже его трогать было нельзя. А на Николаева выскочившие из разных кабинетов сотрудники набросились и там начали даже его избивать, в общем, устраивать самосуд. И вот Николаев в это время, это рассказывали мужу, он кричал: "Мне же обещали, мне же обещали!" Но что там обещали, мне муж, во всяком случае, не говорил, может, он слышал, но мне он только это рассказывал. Николаева схватили, пришла охрана и его увезли. Я в это время сидела дома, ждала, что муж позвонит, чтоб я приехала, в этот день надо зарплату получать, звонков нету, я звоню в Смольный - никто не отвечает. Платонова была больна, она была дома, у нее был свой телефон, она говорит: Я звоню-звоню, в Смольном почему-то не отвечают. У нас два телефона, и оба молчат, и муж не звонит, совершенно феноменально. А радио играет какие-то веселые песни, понимаете, как будто ничего в жизни не случилось. И вот мы возле телефона с этой Настей Платоновой сидели обнявшись и ждали все же, когда позвонит. И где-то между четырьмя и пятью позовениями муж и сказал: "Вы знаете?" Мы сказали: "Ничего не знаем. Что случилось?" - Кирова нет, Кирова убили, и плачет, я слышу, что он плачет. "Я не могу говорить, не жди меня, приеду поздно". И все. Ну тут Настя начала звонить, она все же была начальником, начальником отдела кадров Смольного, ей начали отвечать, и кое-что ей объяснили, рассказали, что Николаева забрали. Тут вот появилась и фамилия Николаев. Его там никто не знал, он к Смольному никакого отношения не имел. Он что-то такое делал в институте Красной профессуры. То ли он собирался там учиться, то ли он в какой-то лаборатории там работал, я сейчас по-честному скажу - не помню. И тут в разговоре пришлось, что это муж той самой уборщицы, которую в свое время выгнали Киров из своего кабинета. Надо сказать, что сразу, уже часов в 10-11 начало уже говорить радио, сообщения. Но в течение нескольких часов следующего дня была такая теория пущена для всеобщего пользования, что убийство произошло на почве ревности. Но это продолжалось буквально несколько часов, уже к вечеру другого дня этого ничего не говорили. Кирова перевезли в Таврический дворец, он там лежал, туда началось паломничество, я два раза туда ходила, там тысячи народу шли, там сами соблюдали порядок, так плакала толпа, вы не можете себе представить, я никогда не думала, что так может плакать народ: и мужчины, и женщины. Я два раза ходила туда, выстаивала эти очереди, мне хотелось посмотреть на Сергея Мироновича.

Потом были сообщения, что Николаев в это дело замешан, что будут выясняться обстоятельства, а потом поступило сообщение, что он расстрелян, что он признался, в газетах это было сообщено, никаких особых пояснений не было. Не помню, кажется на шестой или седьмой день похороны были, не помню сейчас число. Приехал Сталин в Ленинград, и он был на похоронах и шел за гробом, и поэтому людей близко к процессии не подпускали. Я была там, но видела все только головы и издалека, а в толпе говорили: вот такой-сякой, страшно ругали Сталина, что это он мол убил Кирова и, лицемер такой, приехал его хоронить. Вот это мои последние об этом впечатления.

Вечером, когда приехал муж, он мне уже более-менее подробно рассказал, я помню, когда он вошел, это часов в одиннадцать вечера 1-го числа, когда он вошел, он находился еще в шинели по старой привычке, и он сразу через коридор в свою комнату, он упал на кровать, я никогда в жизни не слышала, чтоб так рыдал мужчина. Я его вообще никогда не видела ни плачущим, ни рассстроенным таким, он не мог просто говорить, а по-

тот он сказал мне: "Ты запомни, что это самый страшный день в нашей жизни".

Похороны состоялись в Москве, никто из наших не ездил туда, как они там проходили, я не знаю. Жизнь начала входить в свою колею, но мужа несколько раз приглашали на собрания студенчества, рабочих рассказывать о Сергеев Мироновиче, он там был, но это для него была пытка, потому что он с трудом мог говорить спокойно, а показывать свои нервы на народе, это было не в его правилах. Тогда начались после этого страшные репрессии в Ленинграде, массовые высылки, преподавателей, врачей, интеллигентов, просто давали 24 часа - и выезжать, не давали времени ни с вещами расправится, ни с чем. А в середине декабря примерно приехал Ежов. На какой-то пятый или шестой день вызывали моего мужа к Ежову, он с ним разговаривал, как муж сказал, разговаривал очень грубо, но просто спрашивал - присутствовал ли он при этом, рассказать об этом. И через несколько дней мужу сообщили, что он увольняется из Смольного, что его снимают с партийной работы. И он три месяца был без работы, его не посадили, мы все время ждали, поскольку высылают всех, то и его тоже, но его не высыпали, просто он был без работы до марта месяца, так что мы жили только на мою зарплату, а он томился дома, он и в Смольный не мог пойти, поскольку не знал, какие там отношения. И к нему боялись люди звонить, и почти никто не приходил из бывших товарищей. Вообщем это было такое страшное время месяца три. А потом его вызвали и вдруг сообщают, что его переводят в ведение Орджоникидзе в наркомат тяжелой промышленности. И назначили его директором Всесоюзного алюминиево-магниевого института здесь в Ленинграде, это на Васильевском острове, сокращенно ВАМИ, он и сейчас существует там. Назначили его директором, и он очень быстро начал входить в свои обязанности. Работа эта ему очень нравилась, хотя он очень сожалел, что с партийной работой он должен был покончить, но он говорил, что после того, как Кирова нет, ему даже не хочется в Смольный заходить. Так что в общем его устраивало, что он в этом ВАМИ, и никаких у него встреч с прошлым нет. Он был поглощен этой работой, тут же начались опять большие поездки, потому что организовывались новые институты в Советском Союзе, кафедры по алюминиево-магниевой промышленности. Муж проработал там до января 37 года, причем, в январе было сообщено, что институт награжден какой-то большой премией за какие-то большие научные открытия, а мужа вызвали в Москву за получением всех этих премий, документов. Он уехал туда 20-го января, накануне ленинских дней: 21-го Ленина смерть и день расстрела 9-го января поминается всегда. Он там пробыл несколько дней, он возвращается оттуда, счастливый, довольный, утром приехал он с вокзала и сообщает мне, что получил от Орджоникидзе персональную автомашину, что тогда было очень большой редкостью, и что он приехал на день раньше, но он был занят этот день отправкой этой машины в Ленинград. Это у нас был такой беглый разговор за утренним чаем, приехала машина за ним, чтобы везти в институт. И он мне тут рассказал: "Ты знаешь, я полтора часа был у Орджоникидзе, большей частью говорили о Кирове. Орджоникидзе страшно любил Кирова оказывается. И мы полтора часа не столько о работе говорили, сколько о Кирове." А как вам известно, Орджоникидзе 18 февраля застрелился. Тогда было сообщено, что он умер, это теперь только стало ясно, что он застрелился. Муж пробыл на работе до шести часов вечера, в шесть часов он приехал домой, пообедали, он все рассказывал впечатления о Москве, о встрече с Орджоникидзе, потом он сел работать, документы приводить в порядок, в часах в 10 вечера пришли за ним. По-моему, было два человека всего, предъявили ордер на обыск и на арест. Обыск делали такой довольно небрежный, быстрый, так по поверхностям. У нас была огромная библиотека, и у мужа, и у меня. Они так несколько книг вынимали, смотрели, но смотреть все книги, как это было принято вообще,

этого не было. У мужа была комната-кабинет и комната, его отдельная, а у меня отдельная комната и у дочки отдельная, мне сказали: заберите здесь ваши вещи. Вот я некоторые книги унесла, мне было не до этого, по правде говоря, но раз приказывают, значит это надо сделать. Часов в 12 ночи его забрали, увезли. Мы с ним только попрощались, успели два-три слова сказать и все. А я после того, как окончила аспирантуру в 32-м году, меня забрали, тогда же не спрашивали, на военную службу вольнонаемной в Ленинградскую военную картографическую часть, где я как картограф была редактором карт Дальнего Востока, вот Хасана карты, Японии, Северной Манчжурии — это все шли под моей редакцией. Я на другой день сообщила на работе, что муж у меня арестован, тем более, что я там секретным отделом ведала, я думала, меня сразу выгонят с работы, потому что такая работа, что ни каждого подпускали даже близко, потому что пограничные районы в ведении нашем. Но мне начальник, майор был у нас такой Змануилов, говорит: "Нет, мы тебя увольнять не будем, мы проверим, в чём дело. Вот тебе отпуск на две недели и путевка в Петергоф в санаторий. Поезжай в санаторий, а мы за эти две недели проверим как и что, и тогда уже решим дальнейшее твоё существование". Я действительно уехала в Петергоф, мне было не до отдыха, но другого выхода не было, приходилось подчиняться обстоятельствам. А через две недели я приехала, и мне говорят: продолжай работать так же, как работала. Я была поражена совершенно. Тем более в это время меня начали вызывать в Большой дом на Литейном. Вызывали обыкновенно часов в 10-11 вечера, так что я там проводила полночи, и допросы вели относительно моего мужа. Мне сказали, что я могу передавать ему каждую неделю передачу: продукты и бельё чистое привозить. Я аккуратно привозила чистое бельё, мне передавали обратно грязное, я передавала ему продукты: колбасу, масло, хлеб. Был такой небольшой мешок, я вышила его фамилию, огромные очереди были там, потому что арестованных было масса, но ничего не по делаешь — мирилась. Потом мне сказали, что можно посыпать каждый месяц 25 рублей почтой, я это посыпала в феврале, марте и в апреле, я успела послать. И один раз следователь передал мне от него открытку, следователь, надо сказать, вел себя со мной очень корректно, был такой Козлов Федор Иванович, он никогда не нарушал правил вежливости, спрашивал серьезно, но без всяких там угроз. Раз пять или шесть меня вызывали, в конце концов даже протоколов никаких не велось, а вот спрашивали и все. Кто бывал у нас, они уже знали. Назовешь кого-нибудь — это мы знаем, это мы знаем, зачем меня вызывали, собственно говоря, и непонятно. На шестой раз меня вызвали, обычно, когда кончался допрос, где-то в три-четыре часа утра,

конец первой стороны

К. Наталья Борисовна, скажите пожалуйста, был ли определенный разговор перед 17 съездом в 34-м году, в январе 34-го, во время съезда или после о том, чтобы сместить Сталина с поста Генерального секретаря?

Н.Б. Разговоров о том, чтобы сместить Сталина и вместо него назначить Кирова, во всяком случае в моем присутствии не было, я не сомневаюсь, что они должны были быть в среде партийцев, а я как беспартийная в эти дела не посвящалась. Да и признаться, времена были такие, что старался от этого держаться подальше, откровенно говоря. Зачем я буду вмешиваться в такие дела, которые меня лично, ни моей работы не касаются? Вот так вот рассуждала. Поэтому до отъезда на съезд, я знаю, что был подсчет делегаций, которые будут на съезде и которые будут благоприятны Кирову, об этом разговор шел, но это был не персонально ко мне разговор, а между собой они говорили, я кое-что слышала. Во время съезда разговоров не было, не с кем

Было говорить. А после съезда был единственный разговор, когда приехал мой муж, очень растроенный после съезда, и когда я спросила, в чем дело, он мне объяснил, что они все очень растроены потому, что они считали, что пройдет Сергей Миронович первым секретарем, а на самом деле вышел Сталин. Они подсчитывали голоса всех делегаций, которые должны были голосовать за Кирова. Я уже перечислила эти делегации, могу повторить еще раз, они упоминали Ивано-Вознесенскую, которая безусловно голосовала за Кирова, Казахстанская, Астраханская, Закавказская, Ленинградская безусловно, еще другие области, может говорили, но я не помню. А относительно того, чтобы критиковать Сталина, никогда этого в моем присутствии не было, это было не то время, когда это можно было себе позволить, этого никто не делал, просто молчали, может, кто-то где-то в частном разговоре, когда никто другой не слышал, об этом и говорил, но принято об этом говорить не было. Я была посвящена в работу университета, студентами, очень была далека от всего, мужа я видела очень мало, он был на работе до 7, 8-ми вечера, приезжал очень уставший, и он со мной на эту тему разговоров не вел, так что больше того, что я рассказала, я ничего не могу добавить.

К. Наталья Борисовна, но все-таки, если не было открытой критики Сталина, такие оживленные разговоры, такое настроение Вашего мужа предполагает то, что по их мнению, по мнению Вашего мужа, по мнению большинства его соратников, по мнению большинства людей, с которыми вы общались среди партийцев, Киров был бы лучше Сталина на посту Генерального секретаря?

Н.Б. Вы знаете, я считала тогда, что это объяснялось тем, что Кирова очень любили, очень любили, и обсуждать его партийные качества в моем присутствии я не помню, чтобы что-то было, в именно они хотели, чтобы порядки, которые были в Ленинграде при Кирове, они считали, что должны быть везде, и в Москве, и везде. Они до этого сравнивали строгости московских приемов и так дальше, это им не нравилось. А так чтобы была критика или они сравнивали в моем присутствии, этого никогда не было. Они были растроены тем, что убедились в том, что якобы был подлог при подсчете голосов, вот это их убило, если бы все было по-честному, они бы никогда не...неразбр., я уверена в этом.

К. И последний вопрос, скажите пожалуйста, когда Ваш муж после убийства Кирова вернулся и сказал, что это самый страшный день вашей жизни, что он имел ввиду?

Н.Б. Я поняла так, что это начинается какая-то страшная полоса в нашей жизни, когда все наши надежды, чаяния, вся радость из жизни уйдет, и что нас ждет что-то такое страшное. Но что тогда еще было трудно себе представить, потому что еще не начались такие репрессии массовые и так далее. Самое страшное - убийство Кирова, ведь ему пришлось, он нес на руках Кирова, видеть смерть Кирова.

К. Ваш муж понял, что версия, что убийство совершено из ревности, это фикция? Думал ли он о том, кто на самом деле убил Кирова?

Н.Б. В том, что убил Николаев, ни у кого никаких сомнений не было. Во-первых, он его увидел, когда он уползал, тут уж никого другого не было, ни охраны при Кирове не было, никого. И по первым впечатлениям можно было подумать, что Николаев стрелял из ревности. Это так было подстроено, по-моему, это мое личное мнение. А дальше, когда уже пустили слух насчет этого, тогда уже припомнили насчет выходки этой уборщицы Николаевой и того инцидента, когда Киров велел ее убрать, ато все припомнилось, и тогда пришли к выводу, что это цепь одного и

того же порядка, начало там. Кто-то задумал что-то такое сделать, а кто - не говорили. В толпе народа, в которой я была на похоронах, там говорили, но там были тысячи людей, и кто там говорил, и что там говорил, никто не фиксировал и настолько все были в каком-то отчаянии, горе, что, вы знаете, никому бы в голову не пришло прийти говорить, что вот этот, этот что-то такое сказал. А что потом было, я не знаю, потому что с партийцами после смерти Кирова я не виделась, у нас никто не был, я была совершенно в другой среде, студенчество и преподаватели университета, там на эту тему никаких разговоров никогда не велось.

К. Наталья Борисовна, скажите пожалуйста, как Вы пришли к пониманию, что убийство Кирова совершено на самом деле из политических убеждений и когда Вы это поняли и что этому способствовало?

Н.Б. Я в то время во всем этом разбиралась, очень мало понимала. О том, что стоит за этим, начало быть понятным для всех и для меня в том числе, которые не были посвящены специально в этот вопрос, после сообщения о том, что Николаев принадлежал к зиновьевско-троцкистской организации, что это троцкистско-зиновьевские дела. Это была официальная версия, и у нас никаких оснований не было тогда, потому что мы знаем сейчас, тогда никаких оснований делать какие-то выводы не было. И с мужем я не говорила никогда, во-первых, потому что он страшно тяжело переживал смерть Кирова, и каждый раз это его выбивало из колеи, и он просил: "Давай об этом не вспоминать.", так что об этом мы не говорили просто, я не могу даже вспомнить специально таких случаев. А то, что это было задумано троцкистской бандой, зиновьевско-троцкистской, это было официально в газетах сообщения такие даны. И это мы принимали за официальную версию. Что там можно было предполагать другое еще... можно было этому верить, можно было... казалось, что что-то такое есть, но что? Откровенно говоря, и до ареста своего собственного я никогда на этот счет никаких выводов не делала, не понимала просто, так, как сейчас хотят сделать, что мы тогда все знали об этом. Нет, никаких таких версий не было.

К.- А настроения, которые были в городе, вот Вы говорили о том, что в толпе, которая шла за гробом Кирова, говорили: "Вот Сталин приехал..." это было массовое настроение или какие-то отдельные высказывания людей?

Н.Б. Это была толпа. Кто там в этой толпе хотел сказать, может это были отдельные личности, а может это были представители каких-то организаций, я же не знаю, это то, что доносилось изредка в течение пяти или шести часов, что я провела в этой толпе. Со мной расчет этого никто не говорил, а то, что я слышала, я не могу делать выводы, что это было массовое. А что касается настроения в городе, то они начались тяжелые, после того, как началась массовая высылка, город был в панике буквально. Среди моих знакомых несколько человек были в эти дни... им давали приказ выехать и все. Они выехали и бросали вещи, например ко мне приходили домой люди, просили: "Купите у нас пианино за сто рублей, нам только деньги на дорогу нужно, нам день дают на выезд." Так что, многие, наверное, деляги и спекулянты пользовались этим, скупали за бесценок дорогие драгоценные вещи и на вокзалах провожали выезжающих, это что-то творилось сумасшедшее просто. Вот у меня двух знакомых таких вот моих близких, сотрудников нашего института просто выслали, их не арестовывали, из Ленинграда куда-то в Горьковскую область, и я ходила их провожать. Так там были толпы около каждого вагона, были толпы провожающих, и рыдания, и так дальше, никто не понимал, в чем дело и зачем, потому что там были са-

мые разные люди, у меня были знакомые из института географии сотрудники, другие были учителя, были музыканты, были артисты, и весь город ждал, были в страхе в таком, что вот придут, ничего не объясняя, придут, заявят: "Выезжайте, и все!" Среди них, правда, был целый ряд людей, которых арестовывали, но об этом-то мы ведь не знали. Иногда в газетах сообщали на следующий день, что вот такие-то такие-то арестованы, столько-то человек. Это газета сообщала, ну, раз газета сообщала, мы верили этому, потому что газета сообщает, за что их арестовывали... Мы не знали, за что их там арестовывают, или за что, когда сообщают о расстреле, мы же не знали. А все обвинения всегда кончались, это обвинение "Зиновьево-троцкистские банды". Все. Так что народ... Причем не было принято говорить об этом, понимаете? Происшествие вы знаете, в этом доме, в вашем доме, так дальше, рядом выслали людей. Но вы приедете на работу и вы не станете об этом никому рассказывать, и вам никто ничего не будет рассказывать. Это было, трусы мы все были, из осторожности все молчали, поэтому делать какие-то выводы тогда просто было невозможно.

К. А можно все-таки охарактеризовать какими-то несколькими словами обстановку, атмосферу, которая была в том городе? Это был ужас, страх или что это? Ожидание беды?

Р. Если охарактеризовать атмосферу, это был страх и ожидание беды, каждый за себя беспокоился. Уже никаких вопросов политических не задавали, каждый торопился скорей-скорей собрать свое имущество, то, что можно спасти и уехать. Так что это было паническое настроение, я бы сказала. Но какие были политические у этого окраски, мы просто не могли знать, потому что никто этим не делился, никто об этих делах не рассказывал, просто узнавали, что такого-то такого-то выслали, и все.

К. А думали ли вы что-нибудь о Сталине? Вот в это время, Вы сами, если не говорили, то думали?

Р. У меня было очень двойственное, у меня оно появилось после одного случая, такая мысль была странная. Я очень часто бывала в командировке в Москве, потому что наш институт был в Москву переведен, а сотрудникам не была дана квартира, и поэтому оставались в Ленинграде, и поэтому каждые две недели я выезжала в Москву в институт с отчетом о своей работе. И вот там однажды я шла, это еще при жизни мужа моего было, я шла по Красной площади мимо ГУМа, вы знаете, как ГУМ разложен против Кремлевских Спасских ворот, я стояла около храма Василия Блаженного и хотела перейти через Красную площадь по направлению к музею на той стороне. Вдруг меня останавливает милиционер, и так вежливо меня просит: "Пройдите вот туда вот, в сторону, к ГУМу." Не идти на площадь, а вдоль ГУМа идти. Я немного удивилась, но подчинилась, конечно, потом смотрю, что цепь довольно большая милиционеров стоит, примерно от Спасских ворот до храма Христа Спасителя и к ГУМу стоят милиционеры. Ну я остановилась, заинтересовалась, конечно, очень, что это такое, какая-то манифестация что ли? Вдруг распахиваются ворота, выезжает машина, машина открытая, я в машинах ничего не понимаю, но большая машина, в ней несколько человек, один человек стоит, но в первой я не обратила, а во второй машине, смотрю, едет Сталин, он стоит. Ну, конечно, это было страшно интересно, я глаза выпаршила и уже стала внимательно смотреть, потом третья машина, в общем, пять машин проехали, и в пятой опять ехал Сталин. То есть такой, каким я его знала по фотографиям, в жизни я его не видела. Тут у меня прямо какое-то смятение в голове, что это такое: два раза Сталин на пяти машинах изображен так, как будто живой. А уже впоследствии, после XX Съезда я прочитала о том, что, оказывается, это было принято, что,

когда он выезжал на какие-то встречи с народом и так дальше, то там очень часто у него были дублеры. Он боялся, видимо, за свою жизнь, и были люди, которые подставные, изображали его. А он проходил более-менее незаметно. Это уже то, что было тогда в печати после ХХ съезда.

К. Наталья Борисовна, Вы рассказывали, что Вы что-то слышали о самоубийстве Алилуевой, жены Сталина, и что на самом деле не самоубийство, а убийство. Расскажите пожалуйста об этом. В каком году это было?

Н.Б. Какой год я не помню. Для меня знаете, это событие было не столь уж и важное, всяких промежуточных шло в жизни много, я знаю только одно: об этом было сообщено в газете, о том, что она умерла, даже, по-моему, не было, что она застрелилась.

К. А вот подробный более ответ о том, что жена Сталина...

Н.Б. Никаких сообщений не было, просто коротенько сообщение о том, что она умерла.

К. Наталья Борисовна, расскажите пожалуйста, что Вы знали о самоубийстве Алилуевой?

Н.Б. О том, что умерла жена Сталина мы узнали из газет, других сведений не было, там не было даже самоубийство, просто умерла и все. А муж мой в это время был в Москве в командировке, когда он приехал оттуда, я спросила: "Ну что там слышно про смерть Алилуевой?" Да, - говорит - разное болтают: что она покончила с собой, в кто-то говорит, что он ее застрелил". Но Вы знаете, настолько это был беглый разговор, настолько, видимо, была насыщена всякими событиями жизнь, что один раз об этом сказали и больше к этому не возвращались, не обсуждалось это.

К. Мы с Вами закончили разговор на том моменте, когда Вы дошли до шестого допроса, когда Вы пришли на шестой допрос зимой 37-го года.

Н.Б. Это уже была весна 37-го года, допросы были после января, это был февраль, март, апрель, последнее было где-то в конце мая.

К. Расскажите, пожалуйста, об этом допросе, что Вам говорил следователь?

Н.Б. Я уже Вам говорила, что на этих допросах меня поражала бесполезность этих разговоров, как никак я работала, целий день была на работе, а часов в 12 ночи меня вызывают в Большой дом. Хорошо что я жила близко там, я могла пойти пешком без всякого транспорта, меня сразу принимали, там был выписан пропуск, я приходила, комната всегда была одна и та же - 666, там меня ждал мой следователь, Козлов Федор Иванович, по-моему, отчество не помню точно. И начиналось: "В тот раз мы остановились с Вами на том, кто у Вас бывал." Я опять повторяла, кто у нас бывал, я опять говорила: такой-то бывал, такой-то бывал. "Какие разговоры вели?" - Вы поймите, я беспартийная, о работе своей они со мной не говорили, да я настолько была поглощена своей работой и своими обязанностями, что я не вмешивалась в их дела, совершенно не вмешивалась. Муж это и не поощрял, "Это тебя не касается." - мог он мне сказать. Мне достаточно один раз сказать, что я уже не вмешивалась. Поэтому какие там были реакции и так далее, может у них между собой и были разговоры, но со мной мужу никогда было просто поделить-

ся, мы проводили ночью часа полтора-два вместе, а потом он сидел работал, я сидела до полночи работала. Следователю я могла рассказать то, что говорю вам сейчас, я ничего такого не слышала, никто при мне ничего такого не говорил, придумывать я не буду. Я считала, что это было общество очень приличный партийных людей, которых я очень уважала, очень ценила, но никогда в их души я не лазила, и они не пытались поддерживать со мной отношения. После ареста мужа они тоже все поисчезали, кто был арестован, а некоторые, кто еще был на свободе, просто избегали со мной даже поддерживать знакомство, даже по телефону со мной не разговаривали. Так что я оказалась в полном одиночестве. Если бы не моя работа, где ко мне продолжали хорошо относиться, я была бы в полном одиночестве, потому что сразу вся эта жизнь, которая была с мужем, она вся ушла куда-то в прошлое, ее не стало. Поэтому я очень мало могу об этом рассказывать, об этих настроениях. Вот про Алилуеву он сказал: "Вот болтают то-то и то-то..." Может, он и воспринимал это как болтовню, во всяком случае мне он так изображал, может быть, он знал больше гораздо, но со мной он не делился.

К. Вы рассказывали о благосклонности к Вам следователя Козлова

Н.Б. Один и тот же следователь был все время, иногда присутствовал еще какой-то другой, я его фамилию не знаю. Во-первых, он позвонил в институт, и мне до самого последнего дня, до мая месяца мне выплачивали зарплату мужа, что вообще было фантастикой, из института платили, так что я не была без денег. Потом он мне передал, это было уже незаконно совсем, открытку, где муж прощался со мной, просил прощения за то тяжелое, что мне приходится из-за него переживать, что еще придется, может быть, пережить. Вот такая коротенькая почтовая открытка. А потом на шестой допрос, когда он мне сказал, что это последний раз мы Вас вызываем, и обыкновенно он мне выписывал пропуск, и по определенной лестнице я спускалась вниз и уходила. А тут он пошел со мной вместе, на лестнице он пошел рядом со мной и очень тихонечко мне сказал: Наталья Борисовна, я Вам советую, я пояснять ничего не буду, забирайте Вашу dochku, оформляйте развод и уезжайте. У Вас мама где-то есть в Казахстане, уезжайте к ней. Если у Вас есть только возможность, сделайте это. Я понимаю, что он не мог говорить много, он так убедительно, причем он выбрал место между пролетами лестницы, где никто не мог слышать, я потом уже, сколько раз я ходила туда, мне и в голову не приходило, что нас могут подслушивать, а я потом уже поняла, что наверняка нас подслушивали, потому что он часто даже не вел никаких записей. Спрашивал, значит, там за стеной кто-то сидел и записывал. Или они наблюдали за мной. Вот, например, был такой случай на допросе. Поскольку это было в двенадцать часов ночи, я уходя туда, вязла с собой бутерброд, когда он меня допрашивал, потом ему кто-то позвонил, он сказал: я сейчас приду - посидите. Он ушел, я, пользуясь тем, что я одна, достала этот бутерброд и начала есть. Когда он вернулся и говорит: Ну что, вспомнили что-нибудь? или были заняты только бутербродом? Надо было сообразить, откуда же он знал, я ведь без него ела. Значит, кто-то смотрел. Постепенно маленькие такие крупики такие высказывались, но я говорю, что не хотелось бы быть более умной, чем я была тогда, настолько все были наивны, настолько все были воспитаны в каком-то таком духе и молчания и не рассуждения на эти темы, что и я была такая же. Я стала немножко больше понимать, когда меня самую забрали. И когда я там встретилась с сотнями таких же женщин, как я, тоже жены, члены семей, там уже говорили, говорили и говорили, дальше уже нечего было бояться, начали что-то понимать, но это было именно после моего собственного ареста. Потому что меня сбивало с толку то, что мне разрешают посыпать

ему деньги, то, что мне передавали открытку от него, то, что передачи я все время передаю и от него получаю. У меня была все время какая-то надежда, что это все может кончиться еще благополучно. И то, что мне разрешали работать на секретной работе до 3 сентября 37-го года, это значит, восемь месяцев после ареста, выходит, что мне доверяли. И они знали, что меня допрашивают, я на работе это рассказывала начальнику. Все это создавало впечатление, что все может и обойтись еще, что нелепость всего этого ареста, всяких там допросов, все это выяснится в конце концов, и все это закончится благополучно.

К. Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, о последней передаче, которую Вы забрали от мужа.

Н.Б. Уже после перерыва, когда сказали, что передачи носить больше нельзя, это где-то в начале мая было, я перестала ходить туда, но последнюю передачу обратную я не взяла, не помню почему, как сложилось. Прошел май месяц, и в начале июня, да во-первых, в июне приехали, забрали все имущество мужа, конфисковали, его библиотеку увезли, мебель там такая была, что они ее не взяли, собственно говоря, все свелось к библиотеке. Мои вещи ничего не трогали, дочки комнату ничего не трогали, никак не касались нас. А после этого, через несколько дней вдруг ночью поздно телефонный звонок раздался, и очень грубый голос мне говорит: "Гражданка Родионова, долго будете еще держать у нас передачу вашего мужа?" Я конечно напугалась, говорю: "Сейчас приеду." И вот ночью поехала туда, приехала туда, там в углу, большая комната очень, пыльная, где обыкновенно всегда передачи делались в этой комнате, на улице Воинова, никого кроме меня не было, и в углу в этой большой комнате лежали два пакета: мой и еще чей-то, я не знаю, тоже еще не востребованная какая-то обратная передача. Я ее тут же быстро завернула в газету и поехала домой. Приехавши домой, я ее не разворачивая, домработнице отдала, как раньше было всегда: выстирайте это. Она это взяла, через несколько минут она меня зовет, говорит: "Наталья Борисовна, посмотрите, что Вы мне передели". Вот она мне передает белье мужа, но это комок такой, спавшийся от крови, который пролежал уже видимо неделю или две, три, он уже засохший, даже развернуть нельзя. Мы тут же затопили печку, и это сожгли. Так что из этого я поняла, что или его мучали, или... Но еще у меня была такая мысль почему-то: до этого он болел, у него был фурункулез, и у него было на спине несколько ран, и после того как он менял белье, на них следы небольшие крови. И я подумала, возможно, там у него это обострилось, и он эту кровь вытикал этим самым бельем. И все. Даже тогда мне в голову не приходило, что с ним произошло что-нибудь страшное. После этого я о нем ничего не знала, всякие справки мне ничего не давали, не отвечали, конфисковали его имущество, и все на этом кончилось. Лето я продолжала работать, а в июне я перенесла очень тяжелую операцию, я долго была под наркозом, у меня было приращение плода, была беременность нарушена, ребенок был мертвый, мне удалили ребенка, было кесарево сечение, очень тяжелая. Я не знала, выживу я. Ну операцию мне сделали очень удачно, я лежала в больнице, в больницу ко мне приехал врач из НКВД и проверил, что действительно я лежу с операцией или там какая-то комбинация. Он меня осмотрел очень вежливо, очень любезно, пожелал мне всего хорошего, уехал. Это было в июле. Прошел июль, потом август. В августе мне сообщили о том, что меня увольняют. Я пришла с боллетенем на работу, мне сказали, что мы Вас увольняем, что мы не можем Вас больше держать. Я оказалась в таком положении: без заработка, с ребенком на руках, я начала хлопотать об устройстве на какой-то другой работе, мне выплатили двухнедельное пособие, как полагается при увольнении, я начала искать, но нигде в Ленинграде устроиться на работу было нельзя, хотя меня там знали,

принимали разные работы от меня, но тут категорически отказали. И в конце концов я обратилась в Дальневосточное отделение Магаданского округа, и они меня взяли начальником отдела картографов в Магадан. Зачислили меня, выплатили мне огромное пособие, получили разрешение на поездку со мной дочери, получила я билет на выезд на Дальний Восток, и мне только одно сказали, чтобы я зарезервировала квартиру за собой, закрепила за собой. Я начала об этом хлопотать, я не понимала в чем дело, с работы выгоняют, а квартиру закрепляют, как бы нелогично. Это тянулось конец сентября, я вещи укладывала, собирала, кое-что покупала на дорогу, единственное у меня тогда начались переживания из-за чего, что когда я вечером приходила, мы жили в доме большом, шестиэтажный дом Смольнинских работников, так я заметила, что по вечерам только в нашей квартире горел свет, все остальные окна были темные. И в соседних квартирах, когда я поднималась по лестнице, там были опечатаны двери. Тут у меня начали скрести кошки, как говорится, на душе, начала задумываться: что делать? Сделать-то ничего нельзя. Я рассчитывала на то, что я действительно уеду в Магадан, и на этом все кончается. Уж дальше Магадана уехать nowhere не могут. Кончилось тем, что третьего сентября пришли ко мне, сделали обыск, меня забрали.

К. Наталья Борисовна, Вы понимали, куда делись те люди, которые были Вашими соседями?

Н.Б. Я понимала, что они арестованы, но куда они делись, мы понятия не имели конечно. Об этом же никто не сообщал, некоторых услышали на Дальний Восток, на Север, а некоторые в Ленинграде сидели. Вот я теперь уже узнаю из литературы, что некоторые сидели в Ленинграде и в Москве в Бутырках. Но тогда мы абсолютно об этом ничего не знали.

К. Расскажите, пожалуйста, о Вашем аресте. О том, как вел себя следователь, о том, как вел себя охранник.

Н.Б. Вообще они приехали ко мне почти утром, в шестом часу утра, на машине военной, такой полуоткрытой, брезентовый верх. Разбудили. Пришел начальник и стрелок с ним был, вооруженный винтовкой. Мне предъявили документ на обыск, на арест. Начали делать обыск, тоже очень поверхностно, даже книжек не снимали с полок, больше всего он заинтересовался моим столом письменным, который был в моей комнате, начал там смотреть документы, нашел там письмо, которое было написано мной моей дочери перед операцией. Я не знала, переживу ли я операцию, я написала прощальное письмо, которое она бы получила в случае, если я умру. Там я давала ей всякие советы насчет того, как жить, как работать, как дорожить своей работой, не гнаться за большими заработками, а чтоб любить работу свою больше всего. Большое длинное письмо на нескольких страницах. Он его прочитал, попросил объяснения: откуда, почему? Я объяснила. Тогда он дал это письмо прочитать стрелку, и стрелок этот очень долго читал его, молча это все. Без комментариев. А потом он начал выгребать из моего стола все, что там было ценного, там были некоторые золотые вещи, там были часы, брошь вот эта там была, там была облигаций большая пачка. Он позвал мою дочку и сказал: "Девочка, забирай." Он выбирал все, что было ценнее, потом это письмо, все это он отдал дочери. На стене там висели все мои платья, он их так сгреб, снял и говорит: "Девочка, унеси." Она унесла. Потом пришла домработница и говорит: Наталья Борисовна, Вас забирут, а у нас же денег нет. Я вспомнила, что я ей должна за месяц. Я ей говорю: Вот я Вам отдаю облигации. Разрешите? - Пожалуйста, пожалуйста, это Ваши облигации. Я ей отдала облигации и отдала облигации, чтобы они жили с дочерью. Дочкину комнату не опечатали, а мою опечатали.

Уже было половина девятого, когда народ уже на работу уходит. Мне сказали спускаться вперед одной, потом пришел стрелок, а потом уже пошел он. Так что я не под конвоем шла к этой машине. Я села в машину, они пришли, со мной рядом сел стрелок, а он сел рядом с шофером, и поехали. Это было утреннее время, когда народ идет на работу, но в нашем доме некому было смотреть. Когда мы отъезжали, моя дочка и домашняя работница помахали мне рукой из окна, так этот стрелок говорит: Посмотрите, посмотрите, Ваша дочка Вам машет! Я им тоже помахала на прощанье, это последний раз, что их видела. Поехали в сторону Финляндского вокзала, во все вокаала этот начальник говорит стрелку: "Теперь можете идти." Да, пока он эти обыски вел, он говорит: "Вы знаете, я так устал, Вы у меня седьмая за вту ночь." Так что я ему еще посочувствовать должна была. Но он очень вежливо вел себя, обыск был для вида просто-напросто. И вот когда этот стрелок выходил, у меня рука лежала, он мою руку поймал и так крепко скжали, потихоньку, чтоб не видел начальник и сошел. Этот начальник пересел рядом со мной, и мы поехали в Арсенальную тюрьму, эта тюрьма находится за Финляндским вокзалом, рядом, полтора или два квартала всего. Въехали в ворота, он тоже взял меня за руку и крепко мне пожал руку. Ну и все. Я пошла туда, он пошел в свою сторону, я его больше никогда не видела, но во всяком случае и он, и стрелок выразили мне сочувствие и понимание, это, надо сказать, очень меня подбодрило, потому что до этого, пока муж был арестован, я еще работала, все знакомые от нас отреклись, а потом уже в конце концов я стала от всех прятаться, не звонила никому, абсолютно не за чем не обращалась, потому что зачем навязывать, если люди бояться, зачем я буду делать на зло. Так что это было последнее выраженное мне сочувствие. Потом начались обычные формальности оформления в тюрьме. Там были не одиночки. Там помещались мы с женщинами в огромном помещении, первое было помещение: там было 140 человек, клуб.

К. Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, какая атмосфера была в тюрьме? С кем Вы сидели? Какие там были порядки?

Н.Б. Когда я сидела в тюрьме в Арсенальной, она была переполнена, поэтому там были заняты даже служебные помещения, даже клуб для вольнонаемных, мы помещались в клубе. Там были построены нары, мы на них спали, а кое-кто не поместился на нарах, так под нарами на полу спал. В этой первой комнате нас было 140 человек, в первой, которой я была. Допрашивали нас очень мало, меня, например, допросили один раз, причем, я что-то расхрабрилась там, он начал меня допрашивать, я говорю того не знаю, другого, он меня начал револьвером, начал револьвером играть. А у меня было такое состояние - ничего я не боюсь, я вскочила, взялась за спинку стула и говорю: "Можете играть сколько угодно револьвером, я Вам вратить не буду! И придумывать, чего не было - не буду." Он вызвал сразу стражника, и меня отправили. И больше меня не вызывали. Меня там выбрали старостой этой комнаты, поэтому, когда пришел туда начальник тюрьмы - спрашивать, что вам нужно, чем вы недовольны и так дальше. Ну, конечно, всеобщий вопрос: За что нас взяли? В чем нас обвиняют? Мы же ничего не знаем. За что? А он отвечает: А мы вас ни в чем не обвиняем, вы ни в чем не виноваты, просто так надо, так требует обстановка. С нами были только члены семей, только жены, больше никого не было. Потом нас перевели еще в другую комнату, еще большую, вообщем все было битком набито. Это были жены, одна, кажется, мать, были две молодые девочки, родственники. К нам больше никаких обвинений не предъявляли. Кормили нас, во всяком случае мы были сыты, баланда, конечно, невкусная, но мы с голоду не умирали, хлеб выдавали. Было такое впечатление, что нас забыли, вот меня взяли 3 сентября, весь сентябрь я просидела, октябрь, и только числа

25-го октября вызвали нас вечером поздно, предупредили, что сейчас вам будут давать приговора. Вот я принесла бумажку, на которой записано, потом вам покажу. Было темно, почему-то не горел свет, военные, которые пришли, пришли с фонарями летучая мышь. В коридоре стояли столы, и в таком полутемном помещении при освещении летучей мыши, там человека три сидело за столом, перед каждым была кучка документов, и они вызывали: Фамилия? Вот прочтите. Там написано: такая-то, такая-то Особым Совещанием приговаривается к пяти годам... некоторым было написано к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. И все. Я в такой тоже расписалась, вызывали по пять человек. Все подходили: получайтесь, распишитесь, свободны. У кого восемь, у кого пять лет, у кого восемь, у кого пять лет. Потом нашу камеру так перебрали, и они ушли. Тут, конечно, и слезы, и все, особенно тем, кому восемь назначили, так они... Никто не мог понять ничего, потому что в конце-то концов, никого ни в чем не обвиняют. Никого не допрашивают, почему-то кому-то дают восемь лет, кому-то пять, неизвестно тоже, и что нас ждет? После этого мы еще несколько дней прожили, а потом нам объявили, что нас будут отправлять в Новосибирск и дальше. Опять-таки ночью нас снарядили, погрузили нас в эти машины, черные вороны, и повезли на Московский вокзал. На вокзале нас посадили в теплушки, в вагоны для скота, которые прежде использовались. Стоял конвой большой с собаками, очень много собак было этих милицейских, и мы влезали в вагоны и распределялись, в каждом вагоне было 40, 45, 50 человек, больше не могло вместиться. В вагоне была печка железная и кипятильник, уборной не было, дырка в полу. Так мы простояли там сутки, а потом поезд тронулся. Перед тем как нас отправить в тюрьме разрешили написать письмо своим родственникам о том, что передать на дорогу. Я написала своей дочери, и дочь мне принесла пальто, потому что я пошла в костюме туда, пальто, боты, белье, вообще чемоданчик такой. А некоторые ничего не получили, потому что были высланы родственники, так что не от кого было что-то получать. Ехали мы до Новосибирска несколько дней, добрались мы туда перед праздниками. Кормили нас по дороге раз в день, кипяток был неограниченный, хлеб давали на каждый вагон по количеству заключенных, еда была в котелках, что-то вареное из рыбы, каши какой-то. Перед самым Новосибирском нас угостили, привезли огромную порцию селедки, очень хорошей жирной селедки, все очень обрадовались, потому что ели все время такую дрянь, а тут селедка. А вечером наш вагон опечатали, это было наверно 4, нет пятого ноября, и вот в опечатанном вагоне, когда мы выпили всю воду, что в кипятильнике была, мы были три дня без воды. Снаружи ходили часовые, перекликались, а здесь был бедлам форменный в этом вагоне, женщины плакали, просили воды, тем более после селедки было ужасное состояние, даже одна женщина с ума сошла в нашем вагоне, жена одного астронома. Перекрикиваясь через окошечко, которое в этих вагонах есть, мы перекрикивались со всеми, кто стоял рядом на путях, и мы таким образом узнали, что наш поезд восьмой на путях. Это восемь составов стояло, считайте, что в каждом было по 40, 45 вагонов. Одна женщина даже нашла своего сына, ей сообщили, что в таком-то вагоне ее сын едет, его тоже на Дальний Восток отправляли. Праздники кончились, 8-го числа мы тронулись, нас распечатали, принесли нам воду на дорогу, накормили, и мы поехали дальше. Нас довезли до Мариинска, распределение, нет, до Томска нас довезли сначала. Нас привезли, там сперва в тюрьме не было места, потом освободили место в тюрьме, мы ночь ночевали на вокзале и в каком-то клубе, нас просто собрали, потому что был уже ноябрь месяц, было холодно, там везде снег лежал, нас встретил начальник тюрьмы, сказал: Женщины, мы вас приветствуем, и вам будет у нас хорошо. Вообще, мы ничего не понимали, дали нам восемь лет - нам будет хорошо. А потом на другой день уже днем нас построили в колонну и через весь Томск мы шли, собирая толпы народа, которые

смотрели на нас, потому что мы шли под конвоем. Привели нас в Томскую тюрьму, но не в саму тюрьму, только через двор мы прошли, там был лагерь, который был построен военнопленными в первую мировую войну для военнопленных немцев, чехов и так дальше, для военнопленных, которые воевали против России в первую мировую войну. Там было шесть, восемь вообще-то огромных бараков на 400-600 человек каждый. Они были очень высокие, и нары были в два этажа. В одном бараке была кухня, в другом - санитарная, и там же была для матерей с детьми, потому что с нами было человек 30 женщин с маленькими детьми, грудными, их поселили отдельно, им дали отдельное питание, питание у них было более-менее приличное, они жили отдельно от нас. Вот мы в этих бараках разместились, делать было нечего сначала, теснота была страшная - на каждого человека 20-25 см ширины на нарах, так что поворачиваться только по команде все вместе могут, но это было не самое страшное, страшно было то, что ничего не было известно: где мы, что мы и что нас дальше ждет, потому что здесь было явно что-то непостоянное. Постепенно эта жизнь укладывалась как-то, начали работу распределять: двух-трех врачей взяли, чтобы врачебные обязанности исполнять при лагере, пожарная команда была сформирована, вот я пошла в пожарную команду, работала ключником в пожарной команде в течение почти двух лет. Потом при кухне была очень большая бригада, которая должна была резать, крошить, перебирать крупу, много там народа прикрепили, но туда в основном молодежь была взята, такая, на которую можно было наваливать работы много. Мы там прожили почти два года в этом лагере. Перед концом, примерно за полгода до конца, наконец нас начали переписывать, до тех пор они знали просто количество, но не знали ни имен, ни отчеств, Ивановых, например, было человек 35 или сорок. Так что когда вызывали Иванову, то не знали которую из какого барака. Нас начали фотографировать, приходила бригада, фотографировали нас как полагается в тюрьме в анфас и профиль, и негативы заготавливались, чтобы быть подклееными в дела, на каждого заводили дело, а так как негативы надо было написать, чтобы дальше с них можно было печатать, то им понадобился кто-то, кто мог работать на такой работе, они вызвали кое-кого, и меня в том числе, и признали, что я лучше всех пишу, и меня поставили эти негативы подписывать. Я почти полгода сидела подписывала негативы, так что я уже знала весь контингент. Где-то осенью 39-го года нас забрали оттуда, погрузили на поезд и отправили в Марийск, это распределительный пункт лагерей в Сибири, там мы пробыли недолго: недели две или три, а потом мы, наша партия, попала в такой лагерь - Яя, есть речка Яй/?, которая впадает в Лену. Это станция железной дороги, там огромный лагерь был, ну когда-то там были мужчины, и уголовники там были, когда нас привели туда, уголовников оставалось только два барака. Один барак - мужской, один - женский, их по каким-то причинам нельзя было переводить куда-то там в Магадан, где особенно тяжелые климатические условия. А нас значит разместили в этом лагере, там была огромная фабрика пошивочная, которая готовила белье и форму для лагерей всего сибирского округа. Там конвейеры были, всех нас отправили на эту фабрику, в швейные цеха, но не все, конечно, могли справляться, норма была очень высокая, рабочий день был 10 часов, очень тяжело было. Я тоже туда попала, но проработала только две недели, сломала руку, меня освободили, и потом я уже в санитарной части санитаркой работала до конца своего пребывания в лагере.

Многие рассказывают, что были такие ужасные отношения, у нас не было преследований, пыток, наказаний, карцера, то есть карцер существовал, но никого туда не посыпали. Но требовали, чтоб работали и работали хорошо. Постепенно многие научились и норму вырабатывать и даже перерабатывать, так что даже премии получали. А в 42-м году, кому было дано пять лет, пришло время нас освобождать. Мне полагалось выйти 3 сентября, уже шла вой-

на, меня задержали еще месяц, потому что мои документы куда-то затеряли, потом прислали. Сидела до 3 октября, а потом выпустили на свободу, но меня закрепили за лагерем вольнонаемной, я не имела права уехать. Мне посоветовали, я сняла комнату в поселке, мне было назначено какое-то жалованье небольшое, и я работала в отделе снабжения на распределении пайков, уже как вольнонаемная.

К. Наталья Борисовна, Вы рассказывали об эпизоде, когда Вас приняли за дочку Николая II. Расскажите, пожалуйста, это интересно. И еще: о системе надзирателей. Вы сказали, что за вами присматривали уголовники.

Н.Б. Это в тюрьме. Они собственно не присматривали, они нас в какой-то степени обслуживали: то есть они приносили нам еду в больших баках, потом уносили, первое время они даже мыли полы, но потом приспособили нас самих мыть полы в коридоре и в этих камерах, потом они периодически обыски делали, почему, зачем, что там могло у нас появиться? Но их это, конечно, страшно развлекало, доставляло огромное удовольствие. Так мы с ними не сталкивались совершенно. Они на нас смотрели и называли: жены, в мы с ними никак не общались, так что мы их не знали. А в лагере уголовников было только два барака: один лагерь уголовников мужчин, это были в основном мужчины, которые обслуживали фабрику, то есть механики, слесаря и так далее, среди наших женщин такого контингента не было, это было человек четвертеста. А в другом бараке были женщины уголовницы, почему они там были, я не знаю, но они почему-то оставались в этом лагере, они тоже работали, но большей частью саботировали, как их не строжили, они делали все по-своему, так что в конце концов начальство от них избавилось, постепенно их из лагеря вывели. Для начальства мы были спокойнее, когда надо было назначить кого-то, чтобы привозить что-то или увозить, распределять - назначали из наших. Вообще-то жили мирно.

В этом же лагере была одна молодая женщина, с которой мы не поладили характерами, она тоже работала в снабжении, но у нее было восемь лет, а у меня пять. И когда я после пяти лет уже в качестве вольнонаемного оказалась в качестве начальника, она меня возненавидела, ей еще три года предстояло сидеть. Но она вообще со всеми была в плохих отношениях. И она донесла начальнику, что я якобы являюсь дочкой Николая II - Анастасией. И меня вызывает начальник лагеря, уже вольнонаемную, и говорит: вот такое сообщение. Я просто рассмеялась, моя мама живет там-то, у вас все адреса есть, запросите, и во-первых по возрасту я никак не подхожу к ней, и вы же можете проверить моя мать, мой дедушка - все живут в определенных местах, у нас фотографий есть много - проверьте. Когда я уже вышла на свободу и встретилась с матерью, то мне мама рассказывала, что к ним приезжали, проверяли по документам, кто-то этой сказке поверил. Мне сделали такую неприятность, но я только посмеялась.

К. Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, о том, как Вы узнали, как Вашего мужа расстреляли?

Н.Б. В том, что мужа расстреляли, я узнала в январе месяце этого года. В 56-м году после ХХ съезда я получила реабилитацию полную и право приехать в Ленинград и так далее, я подала заявление относительно судьбы моего мужа, но там я получила только справку спустя месяца два, что мой муж был осужден по такой-то статье, срок не назван, и все - никаких указаний, что с ним, не было. Не говорят, так не говорят, что ж поделаешь. А вот теперь в декабре месяце прошлого года я написала заявление в Верховный Суд, в Военную Коллегию Верховного Суда. И получила очень быстро оттуда ответ, я его принесла, вам покажу.

К. Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, о человеке, который сидел с Вашим мужем.

Н.Б. Когда я приехала в Ленинград в 56-м году и получила документ о своей реабилитации, я стала хлопотать о реабилитации мужа, получила его документ, а затем получила документ, что мне нужно явиться в Смольный для оформления персональной пенсии. Я пришла туда к такому, он был председатель комиссии партконтроля Ленинградского горкома, Дмитриев такой, он со мной очень любезно разговаривал, успокаивал меня, я конечно страшно расстроилась, ведь все это надо было ему рассказать, и он мне говорит: Успокойтесь, успокойтесь... Это я Вам не в утешение скажу, считайте, что то, что случилось с Вашим мужем - результат того, что он был делегатом 17-го партсъезда. А Вы знаете, что на 17-м партсъезде было 1700 делегатов, и сейчас осталось в живых около ста. Так что можете себе представить, как с ними расправились. Это конечно не в утешение, а просто объяснение, что горе тысячи людей. И вот там же, когда я дождалась приема, я там встретила человека, он там тоже был в ожидании приема, был вызван, пожилой, моего возраста, услышал мою фамилию и сказал: "А я знал Вашего мужа." Я говорю: "То есть как знали? Вы работали?" - "Нет, я с ним сидел. Мне повезло, я остался жив, просидел 20 лет, сейчас на свободе. Знаете вы о судьбе своего мужа?" Я говорю: "Я абсолютно ничего не знаю." "Я могу вам сказать, - говорит - что их расстреляли в конце мая около Лисьего Носа. Вывозили отсюда на баржах и около Лисьего Носа где-то расстреляли, а там похоронили." Вот сейчас, когда в газетах появилось сообщение о Лисьем Носе и фотографии этого самого кладбища, я поняла, где находятся останки, то, что осталось от моего мужа.

К. И еще, Наталья Борисовна, очень маленький эпизод: вы говорили, что после того, как Вас арестовали, Вам пришлось сидеть с женой следователя, который был к вам благосклонен.

Р. Тогда, когда я уже работала в тюрьме по переписи всех заключенных наших, когда работала на негативах, я там узнала все списки, и вот там мне попалась фамилия Козлова. Я просто поинтересовалась, кто она такая, потом выясняется, что она - жена следователя НКВД. Но я с ней познакомилась, просто пошла к ней и спросила, оказывается, что ее муж, ленинградский следователь НКВД, тоже расстрелян, и она сидит за него, как член семьи. Так что то, что он с нами обращался очень вежливо, и что даже вот мне посоветовал уехать, и хлопотал о том, чтобы я получала зарплату и как-то, понимаете, принимал участие в живом человеке, то, что это порядочный был человек, его ликвидировали тоже. Конечно, какие-то нашли ему другие преступления, а это в том числе. Так что все.